

Волкова Анастасия Николаевна

Видеоинтервью. Томск, 19 июля 2012 года.

<https://youtu.be/V33KdmTi2m0?si=t3yrO6rRmfrHnVdh>

Интервьюер: Алена Козлова.

Расшифровка: Екатерина Белова. 10 июля 2025

— Не надо сокращать, расскажите с самого детства, что вам помнится? Расскажите, пожалуйста, всё, что вы помните.

— С детства я помню отца, как он меня носил и говорил: «Вот, она самая умная и самая красивая». Но он болел, у него была язва желудка, и умер он от прободения язвы. Он пришёл с работы, это было уже время революции, гражданской войны. Он пришёл с работы, а у соседа горел дом. И он много раз черпал там воду на верёвках из колодца, а у него была язва. Она, значит, порвалась, получилось прободение. В ограде лошади... Сын, брат мой, запряг лошадь, поехал за доктором. Привёз доктора, а доктор посмотрел, послушал и говорит: «У него прободение язвы, если бы был керосин, я бы сейчас сделал операцию». Но керосина нет, и операцию делать невозможно. Света нет. Тогда ведь не было электричества, были лампы, лампу-молнию надо для операции... И отец помучился, наверное, часа два и умер.

Была Гражданская война в это время. Время было тяжёлое: так же хлеба не было, так же солдаты мёрзли, валялись на улице покойники, и умирающие, и живые — от голода. Отец собирал солдатиков, приносил домой, лечил их, как умел. Нагревал самовар и ставил бутылки прогревать... Хотя, наверное, этого делать совсем не надо было. Умирали от тифа, от голода, тиф свирепствовал. Но он по доброте своей всё таскал и таскал этих бедных солдатиков. Хотел их оживить, старался, ночи не спал. Вот он такой был, он очень был верующий. У него всегда стояла на столе толстая Библия, которую впоследствии дети совершенно не читали, отрицая Бога совсем. Вот такая была семья.

В юности он хотел быть монахом, даже ушёл в монастырь в Саратове. Но он быстро разочаровался. Когда он пошёл со свечой к настоятелю и сказал такую фразу: «Открой, Господи, прости», а оттуда послышался мат сплошной. И он тогда увидел, что его настоятель пьёт. И он навсегда ушёл из монастыря, не стал.

Он потом уехал в Саратов. Жил у какого-то купца, получил небольшое образование — церковно-приходское и ещё какое-то. Для того времени он был грамотный. Когда сын учился в пятом-шестом классе гимназии, то он ему помогал по алгебре, по арифметике, он все отлично знал, значит, учился ещё где-то. Вот такой у меня был отец.

А когда он умер, мы стали жить очень плохо. Ну, и революция, и голод, покойники на улице... Брат мой старший Сёма, старше меня на 8 лет, вот мы с ним всё детство провели. Мы таскали этих покойников в конец улицы, в сарай — там были бывшие купеческие, — и

мы со всеми ребятишками таскали этих покойников, ставили их там на ноги или складывали. Да-да, работали, в общем. Нам было это интересно, таскать покойников. Никто нас не останавливал. Эти сараи и амбары были открыты, и всем они видны были, как стоят. Я и сейчас вижу этих покойников, которые стоят в окнах... Это была Гражданская война. И вот в это время он заболел, вот и не было керосина, чтобы сделать операцию, и врач сказал: «Нету керосина нигде».

— А где вы жили в это время?

— В Барабинске.

— Барабинск — это Новосибирская область?

— Ну, это сейчас Новосибирская область. А Новосибирска-то не было тогда вообще. Это был... ну, вот знаете, как он называется, когда поезд проходит, выносят флажок... Я ещё в своём подростковом детстве обошла Новосибирск вокруг. Станция была, небольшая станция. А Барабинск всё-таки больше был почему-то. Ну, там крестьяне, много было крестьян. И от Барабинска в 12 километрах был город Каинск.

— А чем занимался ваш отец? Что он делал?

— Что он делал? Он заключил договор с германской фирмой, компанией «Зингер», и от неё продавал швейные машины. Вот эти вот большие швейные машины, ножные. Лёгкие такие, изящные машины компании «Зингер» были. И вот она сейчас есть, только я её продала. Жалею до сих пор. Это как память... Теперь таких нету. Таких изящных, легких, красивых и вечных машин. Он ездил по деревням. У него были кони, кибитка, экипажи. Он ездил по деревням и продавал машины. В залог, в кредит, договоры всяческие оформлял. Был, в общем, на хорошем счету у них этот агент по продаже, мой отец, Николай Фёдорович Волков.

Но ещё он умел строить. Он рано лишился родителей, поэтому учился у людей. Вот у купца жил, учился, у кого-то нанимался подмастерьем. Учился, как строить, он умел потом строить дома. И в Барабинске несчётное количество настроил домов. Даже сейчас на крепком фундаменте и всё. Да, и себе он построил великолепный дом. Громадная гостиная, пять комнат, спальня, большущий коридор. Земли бери сколько хочешь, но он всё это в кредит делал. Своих денег не хватало, и в кредит делал. Но дом как раз выходил на низину такую, там болотистое место. Это же Барабинские знаменитые степи. И там было болотистое место. Ему не понравилось, да и в громадные долги залез. И он решил продать дом и купить на солнечной, на другой стороне, старый дом, свалить его и поставить там другой дом, другой планировки. И быстро он это сделал, продал. И успел купить новый сруб и новый материал для стройки. И умер. И мы остались в этой старой халупе. Он умер, не успев ничего сделать для детей. Вот так.

И после его смерти, в голодные годы, мама не знала, как жить. Мама только плачет, сидит от горя. Надо, значит, пятеро... И нет таких рабочих рук, которые бы могли заработать. Да, я

хочу сказать, что отец, когда приехал сюда, он сказал: «Никогда не буду иметь дела с землёй, буду учить детей. Главное богатство — это образование. Мне не надо ни земли, ни табуна. Я буду учить детей». И так он и сделал. Уже старший брат Павел учился, и в гимназии старшая сестра Анна училась. Поэтому никто ничего не умел, как бы он умел. Но он сам такой хотел жизни... Он начал с того, что надо учить детей...

Но брат старший, конечно, тогда воевал. Уже в Красную гвардию ходил, воевал за советскую власть.

— А сколько у вас было братьев?

— Два.

— И оба в Красной армии были?

— Оба были. Один погиб. Он был командиром танкистов. У него орден имеется. И его дочь в Новосибирске, 75 лет ей.

— А в Гражданскую войну братья воевали?

— Воевали. Нет, Сёма не воевал в Гражданскую, он ещё мальчишкой был. Он с восьмого [1908] года. А вот старший воевал. На стороне Красной гвардии он воевал. И в Отечественную воевал. Но в Отечественную воевал как специалист, конечно. Он кончал здесь Томский технологический институт, там и военная кафедра была. Там вообще давали образование такое, оборонного значения.

— И как же вы жили дальше после смерти отца?

— И тут мама была в отчаянии. Как жить? Голод, кормить нечем. Но вдруг был объявлен НЭП. НЭП — это была выручка самая. И вдруг появилась мука на базаре. Мама побежала за мукой, всё меня брала с собой. Накупила муки, стала стряпать и продавать хлеб. Хлеб у неё был великолепный, потому что она очень хорошо пекла. Вот такие высокие булки. Она всю ночь в квашне, такая громадная веселка у неё, как лопата... она всю ночь бух-бух-бух-бух. Эта квашня только щёлкает, это тесто. Как помню, лежу и слышу. И хлеб у неё всегда был... «У Волчихи есть хлеб? — У Волчихи есть».

Но чтобы ей первое время обернуться, ей надо было всё равно припрятывать от нас. И они договорились с моей сестрой, которая на четыре года старше меня, средняя, на замок запирает в бане хлеб и сахарин, который выдавали. На замок запирает от нас. Она за столом даст — ешьте, а потом не таскайте. Но нам же охота таскать! Взять с собой, набрать и уйти в поле. И всё, мы сделали ключик. И сахарину наберём (сахара-то нет, лишь сахарин), и хлеба. И убежим в поле, и там живём весь день. Это лучшее моё воспоминание детства. Вот это, как я жила с Сёмой дружно, со своим братом, под его мудрым руководством. Если тебе охота кого побить, если ты хочешь Ицхака побить — это вокруг нас одни евреи были, городок был такой еврейский — «Хочешь побить? Давай я за воротами спрячусь, буду

стоять, а ты бери и побей его. Как он на тебя руку поднимет, я выскочу, буду помогать». Так я бегала, училась драться. Вот так.

Ну что, всё рассказывать в таком духе, нет?

— Всё-всё, рассказывайте.

— Ну что, надо было как-то жить. И старший брат взял меня и уехал. Взял меня для того, чтобы помочь прожить матери... Без меня-то прокормить семью легче. И уехал в деревню учительствовать. К тому времени у него уже было образование и среднее, и специальное. Он что-то в Барнауле здесь кончал, при отце. Да, отец его в Барнауле отдал в какой-то техникум — он тогда не техникум, иначе назывался. И платил какой-то дворянке, отдал со столом, платил, чтобы его кормила, поила. В общем, на полное содержание отдал. Он его закончил. Так что он уже учителем поехал. И меня взял с собой в деревню.

— Это брат Сёма?

— Брат Павел, старший. А Сёма — он тогда был подросток, это мой друг и брат. Он старше меня только на восемь лет. Ему было 12, когда отец умер. Как только отец умер, он сразу бросил школу, и радовался, что можно теперь не учиться... Ну, тут бедствие, конечно, началось, кое-как жили. В деревню поехали. Деревня какая-то очень недружелюбная была. Они не приняли. Я же ребёнок, мне же семь лет только. Что там, ни разу никто не пришёл, не позвал меня в бане помыться или что. Я в пустой школе жила — при школе была и квартира. Ночами он гулял, он молодой парень. Я его и почти не видела, и так я в школе одна и жила.

И только один случай помню хороший, когда приехала какая-то уполномоченная по каким-то делам. И она целый день стряпала пирожки и целый день меня кормила. Так это у меня на памяти на всю жизнь осталось. Сиротское было, бесприютное детство. Я помню, сидела на окне, а луна светит в окно, и я читала при лунном свете. Потому что и ламп-то сильно не было, керосина-то сильно не было. И хоть в то время он уже появился, но это позже можно было пойти и купить целый бидон, а в то время ещё не было. Вот такое детство — бедное, сиротское и мучительно долгое. Но я тогда не чувствовала, слишком девчонка была.

И вот везёт он меня обратно к матери, а я прячусь за занавеску: «Сейчас мать обрадуется, когда придёт». А мать приходит, как увидела меня — испугалась, не обрадовалась. «Лишний рот», — сказали. Ну, пережили этот голод, эту Гражданскую войну, эту смерть отца, устроились. Анна, старшая сестра, пошла работать в детдом воспитательницей. Она кончила гимназию, старую гимназию. Сёма пошёл в школу, сам подготовился и сдал экзамены в техникум. А я с сестрой, которая на три с половиной года старше меня, уехали учиться в Каинск, 12 километров от Барабинска, потому что в самом Барабинске не было старших классов, только были пока что начальные. Поэтому мы уехали, она уехала в техникум, а я в гимназию. И бедствовали мы ужасно. Вот уехали обе, а ведь у нас денег не было. Даже вот ехать надо — там ветка была, потом автобус ходил и прочее. Я, например, больше пешком ходила — 12 километров. Кончатся уроки, я встану на дорогу и пойду

домой. Босиком быстро-быстро, я свободно доходила, около двух часов шла я все-таки... Сначала хотели провести дорогу через Каинск, а потом что-то отпало у них это желание. Построили через Барабинск. Но этот вал, который насыпали, когда строили, когда копали этот канал для дороги, так вал насыпной и остался, по которому я всегда ходила домой. Ну вот, это детство, отрочество... и всё.

А потом я, значит, сама пошла. Теперь 11 классов, а раньше было 9 классов. И сразу давали направление: 9 классов с педагогическим уклоном, 9 классов с уклоном, особенно для мальчиков, для слесарного образования, для токарного — особенно токарей любили. Для землемеров и прочие. Вот такие вот, чисто узкопрофессиональные. Я закончила, пошла тоже учительствовать.

Так как мало платили, я везде хватала уроки. Хватала уроки в рабфаках. Тогда же, как Ленин сказал: «Учиться, учиться и учиться!». Ведь рабочие факультеты были, а учителей-то не было. Мобилизовывали таких неграмотных совершенно: 3 класса кончит — пошлют в деревню. «А ты хоть буквам научи их». Тогда ведь как развёрнута была громадная работа по ликвидации неграмотности, ликбезы. Вот, ещё обнаружу, какое враньё. Пока я училась в этой девятилетке, то каждый должен был отбывать практику в деревне. И рассылали нас по деревням. И недавно слышу такую передачу: «Палками загоняли крестьян учиться. Они не хотели, прятались». Неправда, неправда! Вот я сама приехала и ликвидировала их неграмотность. Знаете, в школе сесть некуда! Не то что их палками загонять — они все хотят учиться! Вы знаете, какой был энтузиазм? Какой был громадный в народе подъём? Тогда можно было создавать государство, можно было повести куда хочешь народ с таким энтузиазмом. Для возрождения новой жизни! Возрождение жизни! Моя мать одела косыночку красную и бегала на делегатские собрания. Вот так. И неправда, что палками, сейчас много врут.

Про лагеря начнут говорить — тоже много врут. Только я не вмешиваюсь, я всё время слушаю это «Эхо», а не вмешиваюсь, потому что там такой громадный номер, который надо набирать... Сначала код города, потом эхо и прочее... плюс семь, ноль какой-то, потом шесть цифр ещё. Пока я набирать буду, там давно уже наберут нужное количество...

— Вы пошли учительствовать, стали ликвидировать неграмотность...

— Ну, неграмотность — это всё. Я в школе была, так меня обязали ходить на дом, и прикрепили ко мне женщину, к которой я обязана была ходить домой и учить. И когда я кончу класс следующий, я должна эту женщину привести на комиссию. Она должна там читать и писать. Тогда, значит, я её научила, и тогда я на хорошем счету, и меня переводят. Пока я это не сделаю, меня не переводят... из моих личных ответов, то, что по программе — нет, надо привести на комиссию... Вот такой большой напор был на ликвидацию этой неграмотности.

Старшая сестра у меня, Анна, жила в Барабинске с семьёй. У неё было трое детей вначале, потом двое. Старший брат работал, где хотел, его по запросу в любой город с руками и ногами бы взяли, лишь бы было образование. Их закончило факультет всего трое...

— Какой факультет он закончил?

— Не могу назвать... Взрывать, строить мосты, железные дороги.

— Скажите, а вы вот закончили гимназию, и вы куда потом поехали? В какую деревню, в какой посёлок? Где вы учительствовали? Или так в городе и остались?

— А я во многих местах. Это практика у меня была в деревне Горьком. А я поехала в Барнаул. И в Барнауле поехала в село Тальменка. Там работала. Потом я вернулась в Барабинск, поехала в Барабинский совхоз. Я приехала, сестра говорит: «Ты что это так далёко от дома? Давай сюда поближе». Я пошла, а там сидит моя подруга в отделе образования районного. Говорит: «Поезжай, вот уже некого направить в совхоз». Я поехала, не рада была. Это, конечно, как лагерь, значит. Нары настелены. Они, бедные, там и живут, на нарах. И у них ничего нету. И школу построили. А при школе построили комнату для учителя. Для меня, значит. Я заняла эту комнату, и в ту же ночь ко мне припёрся какой-то мужик. Спать ко мне. Да. Вот можете такое вообразить? Уровень культуры. Я в ужасе была. Я злая была. Они сделали мне там кровать, доски. И я ложилась, бывало, на эту кровать, а доска средняя падает. А тут залез этот мужик. Я доску ногой нажала, он и провалился туда вниз. А потом ходил и всё ругался. И где бы я ни появлялась, он всё хочет мне дрянь какую-то сказать. Мне было так обидно, я взяла и ушла в соседнее село. Громадное село. Много классов. Хороший коллектив учительский. И я просто сама перешла. И меня позвали, и пригласили, и я ушла. И оставила этот совхоз. Совсем.

Но пришло время выезжать оттуда. Всегда меня, не знаю, кто хранит в жизни. Но в беде всегда меня кто-то хранит. В этом же селе работала одного со мной возраста девушка, хорошенькая, красивенькая. Мы с ней подружились. И она тоже едет домой. Кончился учебный год. И она говорит: «Слушай, поедem на лошадях. Этот твой председатель совхоза едет на конях. Пара коней, мы будем останавливаться, на лужайке разводить костёр, отдыхать».

Вот, как я чувствую, я ни за что не хочу ехать. Она всё уговаривает меня: «Что ты, он и сынишку с собой берёт! Ты не бойся, он порядочный. Давай поедem!». Я говорю: «Ну какой смысл ехать? Два дня, пыль. Ни к чему. Я вот сяду в машину, через пару часов я буду дома». И я всё-таки с ней не согласилась. Она чуть не со слезами пришла утром. Я говорю: «Нет, нет, не поеду». И ведь её убили. Она поехала с ним, а цыгане напали, убили её, ребёнка и его. Их троих убили. Потом меня вызывали, когда их искали. Пошёл слух, что будто она сбежала с ними. Прочая такая ерунда. Я говорю, этого быть не может. Что никакого там романа не могло быть. Он ребёнка с собой взял. И потом их нашли убитыми... А вот я не поехала. Как будто какое-то предчувствие. И везде в жизни у меня вот так вот, всё время какое-то предчувствие. И кто-то меня хранит, наверное...

Ну вот. И там работала, в совхозе. И ещё в этом Горьком. И потом в Иркутск уезжала. Потом я приехала в Новосибирск, пошла в ГОРОНО, устроилась в Новосибирске.

— И куда же вы устроились в Новосибирске?

— В школу. Хорошая школа, Заельцовский район. И выстроился Новосибирск, уже такой красивый становился. И строительство большое. Это была школа от обувной фабрики. Раньше ведь так: например, строила обувная фабрика для своих детей школу. Строила пошивочная фабрика для своих детей школу. И везде были прекрасные школы. Потому что строили их производственники. Они выпускали товары, у них были деньги, у них были квартиры. Они нам строили дома, они должны были дать мне квартиру... Проработала там год.

Ко мне приезжал брат Сёма с женой. Они где-то в Северный район уехали, там работали. Только он уехал, а у нас близится время учительской конференции, конец августа. И я сижу думаю: «Надо же, кофточка у меня какая-то старая. Надо новенькую купить». И побежала... Выскочила, бегу, лечу. 26 августа, 1936 год. Моя дата, когда меня взяли. И подходит ко мне молодой человек. Останавливается, извиняется. Я вижу, в стороне машина. Тогда же машина — редкость, у кого была. А он отошёл от своей машины. Извинился: «Я тут с одним человеком имею такой интерес. Вот он сказал, что вы можете подтвердить, что вы его знаете. Мне нужно с ним какой-то договор... Подтвердите, пожалуйста». Я говорю: «Что за таинственность? Что за человек? С чем вы ко мне подходите?» — «Да что вы, это серьёзно! Выручите меня. Тут ничего особенного нет. Садитесь на минутку, пожалуйста». Подвёл, я села. Села, и так смешно мне стало. Смешно, потому что шибко молодая была, вот и села... Села и, значит, про себя думаю... Говорю ему: «Попаду, наверное, в какую-то известность, как Герострат». А он говорит: «Какой Герострат?». Я говорю: «Неужели не знаете?» — «Не знаю». А я говорю: «Помните по истории Герострата? Он, чтобы прославиться, сжёг... Он шибко славы хотел, но не знал, как добиться этой славы, чем. Он бездарен, у него ничего нет. Он решил сжечь знаменитый храм Артемиды. И он сжёг его. И он прославился в веках. И до сих пор его проклинаят. Хотя бы так — проклинаят, но он прославился». И вот мы оба смеёмся, едем и смеёмся.

Таким образом мы подъехали. А это внутренняя тюрьма НКВД, её с улицы не видно, она внутри двора, она за стеной высокой. Её с улицы не видно, внутреннюю тюрьму Новосибирскую. Мы подходим к управлению. Я даже глаз не поднимаю, куда мы подходим. Он предъявляет книжечку какую-то. «Минутку, минутку, мы сейчас. Мы сейчас, мы сейчас». И мы заходим. Он говорит: «Вот сейчас по лестнице, тут кабинет. Пожалуйста, пожалуйста». Проводит меня в кабинет. «Садись, садись». Я сажусь. И в это время открывается дверь, и заходят грузные двое... в кожаных пальто. Грузные мужчины. И один орёт со всей силы на меня: «Встать!» — кричит. Я опешила, сижу. Что он на меня кричит? Он со всей силы опять: «Встать немедленно! Попалась! Ищем! Гадюка! Гадкая!». И вгорячах сразу оскорбил меня всю. А я сижу и думаю... Не встаю я на его крики. Думаю: «Это ошибка. Они меня с кем-то путают. И вот поймали меня. Может, я на кого-то похожа». А потом так глянула кругом: все встали, когда он зашёл. Одна я сижу. Но я всё равно не встала. Я жду. Это же не может быть. Я за собой ничего не чувствую. Орал он, орал так... Я уже замолчала, безучастная. Не оправдываясь. Просто оглушил. И сказал этому, первому: «Снимай допрос». Хлопнули эти двое дверью и ушли. Только они вышли, следовательно тоже начал орать: «Скажи правильно твою фамилию!» — И грох по столу. Напугать, испугать — вот весь метод. Вывести из

равновесия. Вот весь допрос. Испугать человека. Ну, я такая... я ничего не боялась. Потому что мне бояться было нечего. Я ему говорю: «Ты что кричишь? Ты зачем кричишь? Я не глухая» — «Замолчи! Скажи, как фамилия?» — «Волкова». — «Врёшь! Иванова!». И опять путать меня начнёт. Ну тогда я говорю: «Не буду говорить. Ты сам знаешь. Оказывается, знаешь, ну и пиши сам». И на отчество я молчу. «Я тебе сказал говорить!». Ну вот так, в таком разрезе был допрос. А потом он быстренько сбежал и принёс приказ о моём аресте. И меня живо отправил в камеру.

Прихожу я в камеру. Там, значит, вот старинная тюрьма. Три доски, сколоченные вот так вот... на планке эти доски. Они на цепи, а цепь — крюк здесь, на стене. И цепь эта, значит, протягивается, и эти доски поднимаются, чтоб ты не спал днём. А только на ночь тебе опустят это. И вот, значит, я захожу. И в углу параша стоит. А полная параша говна. А у меня в кармане... что-то было, иголка или... ножичек. Я на всю стену, ещё не исписанную, и пишу на стене. Мой протест на стене был: «Злодей и свинья! Оставил полную парашу мне говна». Пишу это. Открывает дверь, говорит: «Веселишься? Весело у тебя?». Я думаю: что-то рано я веселюсь. Начались допросы. Ночами, ночами. Каждую ночь он не даёт мне спать. Он и днём не даёт спать. И всё тот же... Тучин — фамилия его. И все у него методы отвратительные. Он меня вызовет, а сам поднимет трубку: «Наташенька, ты дома? Я тебя целую, Наташенька! Я тебя так люблю!». Это он хотел играть передо мной роль такого, что ли? Чтобы мне завидно было, что ли? Или мне и без этого плохо? Не знаю, чего он подыгрывал...

И месяцы за месяцами идут. Никого не допустил. Я потерялась. Меня домашние потеряли... Домашние-то — барабинские у меня, семья-то моя родная. Мать-то живая. Мать моя долго жила, она недавно умерла. И... никто не знает, где я. Исчезла. И не узнать им, ни за что не скажут, где я. Никому. Никаких сведений нет. Пропал, как умер, и всё... На мне было ведь что? На мне было летнее платье. Бельё нижнее летнее. Что там? Какое бельё? Тонкое, маленькое. И летнее платье. И мне нечего одеть совершенно. А он никого... Я говорю: «Ты вызови. Пусть мне принесут». — «Ничего. Ничего. Вызывать не буду. Всё. Пока ты мне не осознаешься».

А дело какое мне пришили? Самое главное не говорю. У меня есть брат, Павел Николаевич Волков, который, значит, получил военную специальность по оборонной промышленности. Он готов для армии, он военнообязанный. Понимаешь? И он не на стороне советской власти. Он хочет её уничтожить. И он вписался в организацию против советской власти, террорист! Террорист мой брат, а я помощница. Ну, как я? Учительница. Какая я могу быть, взрывник? Конечно, только помощница. И всё. И пишет он протоколы один за другим. Какая... как мы это создавали? Как мы эту организацию... как, значит, взрыв... Где-то там мост... Приплёл какой-то мост. Ну, бедный Павел ничего не знает и никогда не сидел. Можете себе представить? Павла не арестовали! А дело его, что якобы он создал эту организацию, живёт до сих пор в делах. И тогда... только я была под следствием, а его не тронули. Что же это? Зачем было? Для чего? Вот. Такая вся эта система, настолько отвратительная, непонятная. Загубить человека, и всё. Меня, например...

Но мне было жалко брата. Я жалела его и думаю: столько лет учился, тоже впроголодь учился. Помогать ему некому было, абсолютно. Старшая сестра, так у ней своих детей двое было уже, своя семья. Он так вот, брал чертежи, кому-то делал. Тогда очень трудно было нанять такого человека, чтоб приготовил чертёж какого-то здания или предприятия... Он вот таким образом зарабатывал.

Так вот, подписывай вот эти листы! Я сначала не подписывала. А потом до того мне это опротивело, что я думаю: лишь бы скорее судили, что ли, только отвязаться от этого, от всего. Но я никак не могу дотянуть, потому что на мне всё сгнило. Абсолютно. Тут посадили одну циркачку, в цирке она выступала. Её посадили, а то я одна была. Я ей говорю: «Слушай, дай-ка твою накидку». У неё такая хорошая накидка. Вызвали на допрос. Я вышла, пришла к нему и говорю ночью: «Я больше не приду. Вот я накидку даже взяла. Чего же у меня? Я больше не... Пока ты... Что ты, я говорю, понимаешь в женском вопросе? Я женщина. Ты меня в грязи такой содержишь. Я вымыться должна, столько месяцев я здесь живу. Я с 26-го августа, а уже зима, во-первых. Во-вторых, мне одеть абсолютно нечего». — Я всё сбросила с себя, я голая. Вы знаете, всё вот так вот действительно сгнило на мне. — «Я больше не приду!». И так я ему заявила и говорю, пусть он меня проводит в камеру. Он что-то задумался и, правда, меня проводил. А утром приходит человек и говорит: «Пойдём в баню. Тебе предписано». А я пошла. Прихожу в баню, маленькая баня при НКВД. Аккуратная, чистая. Всё есть там, всё красиво так, всё оборудовано. И такая чистота. И я с наслаждением моюсь там. А когда вышла из бани — вот такие кальсоны лежат, с такими подвязками, куда двое мужиков влезут, не то, что я, девчонка. И такая вот рубашка мужская. Я говорю: «Ну в чём я пойду?». Я одеваю эти кальсоны, завертываю эту рубашку и смело выхожу в коридор. А они стоят, один по одну сторону, другой — по другую. Они же воспитанные Сталиным. Они даже не улыбнутся, они не будут хихикать. Дисциплина — во была какая! Они стоят на вытяжку, как часовые. Строгие, как монументы. Без улыбки. Я скосила на них глаза, думаю, смеются, но не тут-то было. К ним с вопросами нельзя обращаться, они всё равно не ответят. Носят обувь мягкую, потому что они часто подходят к «волчку» глядеть, чтоб их не слышали... А перестукивалась вся страна. Все заключённые перестукивались. И все знали, где кто. Все знали. И я знала. Вот так вот.

Потом меня судили. Одна сказала, что она была психиатрической и ничего не помнит, что она показывала. Другая сказала, что мы ничего не знаем. И, в общем, поглядели-поглядели меня и дали такой срок, который никогда никому не давали, — три года. Отправили документы. Три года мне дали всего. И тут же меня отвели, и прибегает мой следователь: «Сколько тебе дали?» Я говорю: «Что, бегаешь? Обрадовался?» — «Я, — говорю, — рада, мало дали». А он говорит: «Мало, правда... Надо хлопотать, чтоб больше». Вот какой был вредный... Ну, ладно. Тут другая жизнь начинается.

Теперь меня должны отправить в лагерь. И эти документы пошли в Москву, с этими тремя годами, которые потом пересмотрели и переделали... здесь этот документ... и я была назначена на переследствие. Выдернута из лагерей снова. Это в дальнейшем. А сейчас меня будут отправлять в лагерь. Собирают в громадном зале всех — воровок, бандитов. Всех. И меня, значит, вызывают, для отправки на этап. Все весёлые, эти бандитки песни

поют, крутятся. И по очереди заходим, фотографируют. Конечно, никого не стригут. Это сейчас стригут. Конечно, никого не обязывают одевать их одежду. Как хочешь, одевайся. Волосы как хочешь носи. И всегда. И в лагерях, и на следствии. Как хочешь — носи волосы, как хочешь — одевайся. Такого, как сейчас, не было безобразия. И никто меня палкой не бил никогда, нигде. И никто меня не оскорблял, кроме вот этого следователя. Ну, а охрана таскает вещи, чтоб нас одеть. Они же все голые. И я голая. Но мне всё-таки принесла... Он всё-таки вызвал коллегу из школы и обязал принести кое-какие вещи. Она мне принесла всё-таки бельё, платье. И туфли принесла. А зима! А вещи какие таскают, кидают. Например... туфли такие вот, на шпильках, крепдешинового платья, кружевные комбинации, панамы, перчатки лайковые, чулки дорогие, фильдеперсовые. Бельё батистовое или шёлковое. Но нету там того, что... Ну, все берут. Все берут. А я стою, прижавшись к стенке. Стою в ужасе. Это же всё... это всё от расстрелянных людей попало. Не может же быть, что вот одна туфля серая, другая белая. Разная вся обувь. Разные сапожки... Сапожки разные, бельё... всё это снято с кого-то, это не то, что с этикеткой вещь новая, это носимое бельё и носимая обувь, и всё. Это же уничтоженные люди. Это я смотрю и сейчас определяю. Я теперь уже многое знаю, я уже не такая наивная, как пришла. Когда подходят эти же заключённые и говорят: «Бери, почему ты ничего не берёшь? Почему ты стоишь, как истукан? Тебе пригодится, менять будешь, что-нибудь приобретёшь, а так ты с голоду помрёшь. Ты как пойдёшь?». Ну, как пойдёшь... Какое-то пальтишко мне принесла плохенькое, которое я давно оставила. Но обуви никакой. И бельё тоже летнее, платье... что-то она даже зимнее платье не принесла. Потом уж сестра ездила, когда я составила список, сестра ездила за вещами... Я так и ничего и не взяла. Мороз был. Я думала, нас привезут в «черном вороне», а нас повезли пешком... А воровки — у них все равно что-то есть, в узелках все... Они вечно скитаются, вечно из тюрьмы не вылазят... Как потом я увидела: дойдут до вокзала, уже на вокзале что-то украдут...

— И как же вы шли по морозу в туфельках?

— Я в туфельках пошла. И я думала — всё, конец мне. Мы дошли, и я уже их не чувствовала, эти ноги. Сначала было больно, потом я чувствовала, как на палки вставала, и всё. И я иду и думаю: я их отморозила, я их отморозила. И в каком-то тупике стоял вагон, и нас в этот тупик загнали. И, значит, входите все. Мы, женщины, шли впереди, сзади шли мужчины. Мужчинам еще хуже. Женщин никуда не посадят на мерзлую землю, никогда, как стояли, так и оставят стоять. А мужчин обязательно посадят на эту или мерзлую, или грязную землю. Заставят всех сесть. Женщинам — стоять, мужчинам — садиться. А что делать? В жижу, в грязь садятся, не подчиниться нельзя...

И погрузили нас в этот вагон, телячий. Там стояла железная печка, с трубой, выходящей в крышу, кругом щели, и везде продувало. Мороз, декабрь месяц был. Холодно. Где-то, наверное, в углу солома, кучка, какие-то доски накинаны. Я как зашла — я уже не могла стоять, я так и упала посреди пола. Кое-как залезла, кто-то меня сзади ещё подтолкнул, и я кое-как влезла и упала. Я уже упала умирать, у меня не было ни на что сил. Как я себя приведу сейчас в чувство? Как я увижу, что у меня ног нету? И сразу женщина подошла. Женщина эта — Ольга Дворникова. Запомнила я её... Она меня спасла. Она со слезами на

глазах стала просить у конвоира щепки. Она выглядела в окошко, в щель выглядела, что там водокачка какая-то, вода, и возле неё навалены щепки какие-то. Видно, там бак у них грелся, станционный какой-то. И она выпросила котелок воды и эти щепки. И он сначала пошёл посоветоваться с начальником, и тот, видно, разрешил. Он оглянулся кругом... она зашла, говорит, что боится дать. Оглянулся кругом — нету, никто не видит. В общем, разрешили и выпустили её. Она набрала воды и взяла щепки, затопила эту печку. И у неё была кружка, большая кружка, в холщовой сумке. И из холщовой сумки она достала свиное сало. И такой кусок, вот прямо с руку, она всунула... вскипятила эту воду в кружке. Вскипятила горячее-горячее это сало. Сняла с себя толстые шерстяные носки. Кто-то дал ей одеколон, налил кто-то ей на руку. Она стала растирать ноги мои и одела свои носки на меня, шерстяные. Оденет, снимет, поднесёт к печке, опять нагреет, опять оденет. И заставила есть это сало. Я вот так, в нормальном состоянии, как его есть? А тут я его съела и ничего. Всё. И когда я его съела, я почувствовала, что мне горячо внутри. Я стала согреваться. И потом она кипятком всё время поила. А хлеба у неё не было, там у неё было грамм сто. Так она его пополам: «Чтобы живот не разболелся, ты маленько всё-таки ешь хлеба». И так она меня всю дорогу лечила, и она меня спасла. И потом она заставила меня сесть, потом встать. Всю ночь мы вот так ехали... И я так была ей рада... Ольга Дворникова. И думала, я тебя как-то отблагодарю, придёт время. Но её через два дня вызвали, и она навсегда исчезла из моих глаз. Перевели, увезли в какой-то другой лагерь. Там всё время движение, всё время то оставят, то увезут, то перекинут, всё время тасуют. Чтоб не приживались...

— Где Вы были в лагере?

— В Красноярской тайге. Там и ссылка была, тоже в Красноярской тайге. У меня длинная история, у меня ещё и ссылка была...

— А ссылка была в связи с чем? И все же расскажите по порядку. Мы закончили на том, что вы расстались с этой Ольгой и остались в лагере. И дальше что? Вот вы говорите, что то, что видите по телевизору — неправда. Про простыни, про врачей. А что вы увидели в лагере? Как вы, женщины, жили? Где вы работали? Какой у вас был режим работы? Кто был вокруг вас? В больницу попадали вы или нет?

— Я в больницу не попадала. Если бы я умирала, я бы умирала на нарах. И я чуть не умерла там действительно. Что вы думаете, там предоставят... вот, больная, «поедем в больницу»? Да вы что! Умрёшь на нарах, и никому ты не нужен. И никто тебя не спросит даже. Вы не знаете, что такое сталинские лагеря. Никто не знает. Человеческая жизнь ничего не стоит.

— Это был большой лагерь? Барак? Как было там устроено? Много вас было людей в бараке?

— Это лагерь. Большой лагерь. Лагерное управление было в Мариинске. Не дай бог было попадать, ехать через Мариинск. Это их главное управление. То есть там были выстроены

эти казармы громадные на 200-300 человек, километр длиной. Ужас. И там если попадёшь туда, то попадаешь с целью передвижения дальше. Мариинск — это как пересадочный пункт. Дальше у тебя направление, но сразу не будут везти по направлению, а здесь — как пересадка.

— Пересыльный лагерь, так называемый, да?

— Пересыльного лагеря не бывает. Это бывает пересылка просто.

— Вы попали в эту Мариинскую пересылку или нет?

— Да, я была, один раз через неё ехала. Это ужас, эта пересылка. Про одну эту пересылку можно рассказывать...

Ну вот, значит, Ольга Дворникова, её убрали, увезли. Я осталась одна. И не одна, потому что вокруг меня люди. И старые, и больные, и всякие люди. И неплохие люди, везде. И осталась, и стала работать, как все. И живёшь в длинной, значит, казарме. Настелены нары в три этажа. Нижний этаж, второй, третий этаж. Доски одни голые, и всё. Постели они должны выдавать, но они не выдают. Они закрыты у них под замком. Видимо, торгуют ими. Кое-где выдают. Много зависит ещё от людского состава. От людей много зависит, от начальников много зависит. И, конечно, 200 человек там, может быть, во всю длину лежат. Придут с работы... Там даже печку сложили, которую никогда не топили. Своим дыханием грелись. Правда.

Я ехала через Мариинск, это главное управление, и там одно безобразие. Там вот эти воры, бандиты, всякая нечисть общества, они там жили. Дают срок, например, тебе 15 лет. А он попадает в этот Мариинский распределитель и начинает продавать свой срок. И ему выгоднее уехать не туда, куда идёт этап, в другое место. И они с кем-то меняются. Меняются с кем-то, схожесть какая-то есть, ищут схожесть. А зачастую там лампы какие... Ламп нету. Это фитилёк зажгут, воткнутый в бутылёк с керосином. Вот и всё освещение лагерное. Так что шибко не разглядят, кто там. И вот бывает, что человек меняется и уже не помнит действительно свои настоящие срок, фамилию. Столько раз он менялся... И вот я в это попала, когда на переследствие ехала. Я тут и попала в эту Мариинку, там невозможно. Если один человек повернётся, то должны повернуться все, которые лежали на этом ряду длиной примерно в километр. Потому что такая теснота. Некуда их девать. Настолько была в эти годы перенасыщенность. Настолько некуда было людей девать, настолько много сидело... Если есть бытовые такие преступления: халатность там, недобросовестность, аферизм — такие были статьи. Они через стенку разговаривают, по одному делу идут и через стенку разговаривают друг с другом... Цыган и цыганка убили своего ребёнка, мальчишку. Он сказал: «Не буду я жить, если ты не убьёшь». И она утопила своего мальчугана. Он ещё боролся с ней, плакал, сказал: «Я жить хочу». И она всё-таки его затолкала, утопила. И теперь они разговаривают — все слышат. Он ей говорит: «Я тебе помогать буду. Возьми всё на себя, что нам двоим-то сидеть». — «Ладно, а будешь приезжать?» — «Буду»... Вот в таком роде.

А если политический, его закроют на 20 замков и не допустят ни мать родную, никого, годами. Сильно-сильно это замкнуто, строго, невозможно. Наблюдают строго.

Ну что, я приехала в лагерь. Я жила там, работала. Лагерь был неплохой, хорошо оборудован. Работа, работа, утром пойдёшь — вечером придёшь. Между собой мы договаривались. Кого-то освобождать каждую неделю, чтобы она могла вымыться, постирать. Мы, женщины, себе делали выходной, каждой по очереди. Так мы делали, чтобы легче было жить.

— А где работали? Что делали?

— Да, в общем, полевые работы. Или мы садили, или мы убирали хлеба, или мы пололи, или сеяли, или косили траву. Все сельскохозяйственные работы. А это требует очень большого времени, поэтому день был длинный. Спишь два-три часа — и на работу. День-то надо использовать, летний день, успеть убрать. Хлеба там, картофель, морковь... хлеба в основном.

— А вы домой-то уже писали? Родственники ваши знали про вас что-нибудь?

— Сестра сразу приехала. Сестра всё время ко мне приезжала, детей своих оставляла на мать. Она несколько раз ко мне приезжала. И когда я под следствием была, она приезжала, её не допустили. Но всё-таки она передала мне рубашку, бельё. Её там научили в шов написать, а потом зашить. Её там научили бывалые люди, чтобы как-то сообщить. И когда получаешь такое от своих, скорее начинаешь распарывать. И вот шовчики маленькие, машинные швы... Я-то следственная была, случайно попала с бытовиками. Они говорят: «Ищи, ищи!». Я распорол. Она пишет, что ситуация изменилась, борись. Один министр сменился, другой пришёл. Но вот пока «новая метла метет», вот в этот период я и была на переследствии, когда прикрыли вот это дело всё, связанное с тем, что мы с братом террористы.

— И что вам дало переследствие? Вас опять в Новосибирск вызвали?

— Конечно. Меня опять через всю Россию везли, опять через пересылки... Наконец меня приняли, какая-то одна кабинка, и я... повезли меня на переследствие. И в это время на какой-то станции посадили ещё ко мне женщину, ночью посадили. Она как зашла, сразу увидела меня и стала рассказывать: «Слушай, меня судили сегодня, и вдруг прервали суд и сказали, что надо везти в Новосибирск». А я говорю: «А за что судили?» — «Да вот, я пасынка убила». И она рассказала мне, как она убила пасынка, неродного мальчишку. Вышла замуж, а у него был сын. А у нее такая же дочка была. И она в подробностях мне рассказала, как убивала и как мальчишка боролся, чуть не одолел её, и как она позвала дочку свою на помощь. И так она мне отвратительно рассказывала, что я подумала: почему тебя не расстреляли там, чтоб не везти сюда. И я говорю ей: «А тебя расстреляют, вот зачем тебя повезли». Нисколько мне её было не жалко. Тогда она стала креститься, молиться. А я говорю: «А что теперь? Бог тебя не простит, ты убийца. Зачем мальчишку убила?» — «А мне велели убить. Где хожу, мне говорят: убей, убей. Мне в ухо только и слышится: убей, убей».

Значит, она была душевнобольная, видимо. Может быть. Кто её знает... Привезли её в камеру, пришли мы вместе в такую вот плохую тюрьму, пересыльную, временную. Но её никуда не стали помещать. Быстренько, через три дня её судили, к расстрелу. Сразу присудили. И она приходит, приводят её оттуда. Она зашла со своим узелком и говорит, что присудили к расстрелу. И начала она молиться во все стороны, плакать, у всех просить прощения. И все вещи свои раздавать: «Возьмите и молитесь за меня». А вещи у неё деревенские — платья, яркие юбки, кофты. Она вот так везде вокруг себя раскидала и говорит: «Берите, ради бога, берите! Простите меня, простите». Её в эту же ночь и расстреляли. Её вывели рядом, пустая была камера. Её туда вывели, и мы слышали, как её вывели. Нисколько мне её не жалко. С таким сердцем ожесточенным она... Мальчишка, наверное, сразу понял, что она хочет её убить. Он кинулся к двери, как увидел её лицо, такое лицо было у неё нехорошее...

— А как ваше переследствие прошло? Вас опять на допросы вызвали?

— Конечно. А я не знаю, зачем меня вызвали. Сажу и сажу. Меня по ошибке определили не к политическим, а к бытовикам. По ошибке, потому что я шибко молодая. А политические все немолодые. Это редко... И здесь девчонки, они такие молодые все, и я такая. И говорят: «У вас тут политическая одна», когда пришли за мной. — «Нет у нас такой». — «Да тут, говорят, она»... Мне и моего возраста не давали.

И вот переследствие. Вызывает меня следователь. Старый-старый человек. Жёлтый, больной, старый человек. Старых времён следователь. Я говорю: «Ну что, поместили меня, говорю, с ворами, с бандитками. Никаких прав не даёте ни на что, о себе сообщить. Ничего. Заперли. В чём, я говорю, дело?» А он говорит: «А тебе не объяснили? А вот тут пришло из Москвы, что мало дали, — добавить. Слишком мало. Срок добавить. Максимальный». А я говорю: «Ну и как теперь?» — «А теперь будут искать свидетелей и ждать их показаний». Я говорю: «Это шибко долго будет. Я так у вас и застряну здесь. Я знаю, что кто-то уехал, кто-то замуж вышел и другую фамилию принял. Кто-то умер». И правда, долго искали. А потом их вызвали, кого нашли. И осудила меня «тройка». Не суд меня, а «тройка» судила. Может, показать вам эти документы?

— Вы уже передали, мы увидели, сейчас их копируют.

— То есть вас осудила «тройка» и к чему приговорила?

— К пяти годам с лишением прав на пять лет. Но этот срок не имел никакого значения. Пятый год кончился во время войны, и вышел новый приказ — не выпускать этих политических до особого распоряжения. Мы были «особисты», так нас и называли, «особисты» — не выпускать их на свободу. И каждый день обыски, потому что война, потому что у нас бомбы где-то заложены взрывчатые, и мы взорвём их, и прочая такая ерунда.

— Вам объявили приговор — пять лет. И дальше как? А свидание дали с родными?

— Нет.

— А долго длилось переследствие?

— Почти год.

— А первое следствие сколько длилось? В 1936 Вас арестовали, в августе, а когда Вы уже на этап ушли?

— А в декабре и ушла на этап. Тут же, те быстро разделались... А вот здесь — долго. Ну, и свидетели... Предложили мне адвоката. Три генерала меня судили, в орденах. И все, и никого нету... Адвокат сидит за столом. «Адвоката возьмёте?» — «Не надо, — говорю, — адвоката». — «Не берёте?» — «Нет, не беру». Объяснения не спрашивают, почему не беру — дело моё. А я специально не беру, не хочу. И тогда позвали моих свидетелей. Позвали их не по одному, а всех сразу, и они все забились в угол, даже не сели. Они полны страха, они так боятся. А я смотрю им в лицо. Я же уже очень много знаю. Я знаю, в каком они страхе. Я знаю, что они всему верят, я знаю, что они боятся рот открыть. А они стоят там, забились в угол, и им говорят: «Ну скажите, как вы её знаете? Скажите просто, что она за человек? Как она себя ведёт, разговаривает, о чём она любит разговаривать? В общем, дайте ей характеристику — хорошую, плохую, это безразлично. Но как вы её видите? Скажите». Одна говорит: «Она такая беспечная». Другая говорит: «Она весёлая, когда в обществе». Ну, какие это показания! Надо же что-то весомое. Это же детский лепет.

— И что, на основании вот этих показаний свидетельских Вас осудили на пять лет?

— Да. Меня осудили на пять лет. Но пять лет кончились, и снова меня повезли.

— В Красноярский край опять?

— Да. Уже не в тот лагерь, в другой, но в те же места, потому что далеко не повезут. Срок небольшой, далеко не повезут.

— Ну и опять ехали долго, опять в вагонах, опять пересылки какие-то были?..

— Ужас, ужас... Одна была пересылка, когда я опять попала в Мариинск, и как раз была там генеральная проверка. Это значит, всех вызывают по фамилиям, и которые лишние, будут выяснять. И я попала в «лишние», потому что я была следственная и меня в их делах не было. Это были папки отдельно у них. И поэтому они вот этих «лишних», невыявленных, как я, собрали и проводили во временную тюрьму. А там сидели парни. Вот такая камера маленькая, они там гадили. Половина, значит, говна, они никуда их не выпускали. И они голые совершенно были. И нас туда загнали. Меня и двух спекулянтков с золотыми зубами. Я в ужасе была, дышать нечем. Но меня через час уже вызвали. Как взглянули, что следственная — меня сразу и убрали. А этих ещё выясняли да выясняли. Их долго продержали. Дня два, наверное. Потом их выпустили, а они все в слезах вышли. И без зубов. Им выбили зубы, эти воровки. И никто не заступится. Там дежурный, будто он не слышит, он такой же. Он из той же породы...

Вот. И я когда в лагеря приехала, я просто вздохнула. В лагерях порядок. В любых лагерях есть плохие и есть хорошие, но большинство — хорошие люди. Есть обязательно порядок, есть друзья. Это совсем другое дело. А вот эта пакость, эти временные пересылки всякие... Вот примерно так и рассказала...

— В сороковом году у Вас было переследствие, Вас осудили. И до какого года Вы были в лагере? Вас уже не выпустили в сорок втором, сорок третьем...

— Зачем? Нас собрали, закончивших срок. Нашу статью, политическую, и бандитизм — объединили. И вот эти две статьи не выпустили. Не подлежали освобождению политики и бандиты. И поехали мы с бандитами. А так как в наших лагерях политическая я одна была, потом подсаживали политических, много было... Но в этом месте вначале была одна я, а остальные все были бандитки, и бандиты. Так что наша там интеллигенция — главврач, главуправляющий, все эти — вызвали бандитку, главную паханшу, ихнего лидера, и говорят: «Вот она поедет с вами. Она единственная поедет. Мы для вас столько делали...». А они, и правда, много делали, начальство, им поблажек, и от работы, и лечит их... «И мы говорим: вот теперь вы должны заплатить нам. Заступайся за неё, если у неё будут конфликты. Не давай её в обиду. Вот, обещай». Она дала обещание. И она была со мной всё время. Правильно. Она меня действительно выручала. Два раза прямо очень, очень серьёзно.

— А вы говорите, что вы чуть не умерли в лагере. Что с вами было?

— Да я болела воспалением лёгких. Это вот когда я ехала на переследствие, я и заболела. И на нарах я воспалением лёгких, наверное, заболела. Я лежала на нарах, я ничего не ела. Я не помнила. Я была без сознания. И когда я пришла в себя, я увидела, что я лежу на одном конце нар. А они все передвинулись на тот конец, а середина вся пустая. Они подумали, что я умерла. Они же не хотят с покойником жить. А я уже, наверное, признаков жизни не подавала, и они все отодвинулись. Я смотрю — ой, какое место. И напоследок кто-то положил даже возле меня каральки. Может, мол, она ещё живая, может, пожуёт. Вот я очнулась. Похудела я страшно, веса не было. Поглядела на стену — а там 14 пайков сложено. Они не имеют права их трогать. Жива, может быть, я, значит, буду жить. И они складывают и складывают. А когда я очнулась, ко мне стали подходить и просить: «Тебе же сейчас всё не съесть. Можешь маленько дать?». Вот так вот. А так они сами никогда не возьмут. Считается самое большое преступление — взять эту вот пайку. У них это в воровском мире — будь он проклят. Я хоть и жила с ними, но никакой жалобы на них никогда у меня нету из ссылки. Так они хорошо относились ко мне. Правда.

— А в ссылке вы были где?

— Тоже в Красноярский край. Подальше от посёлка, конечно, вглубь тайги. Кто же нас, ссыльных, в деревню пустит? Да их и мимо нельзя деревни пускать. Первым долгом они утащили корову и закололи её. Бандиты эти. Иду я, они кричат: «Аська, иди, есть жареное мясо!». Я говорю: «Откуда?» — «А мы корову зарезали». — «Как вам не стыдно? У женщины дети, муж на войне». А они говорят: «Пожалела? А нас кто жалеет? Никто нас не жалеет. Нас только бьют». Начали меня ругать. А потом на другой день мне говорят: «Надо

собрать мох. Мужики будут строить. Это в ссылке. Мох собрать. Бери девчат и иди с ними, пусть соберут». Собрала я бригаду. «Пойдёмте мох собирать». Вот мешки вам. Они пошли, получили мешки — и побежали в пекарню. Набрали хлеба полные мешки. Вместо мха. Я иду, а они меня зовут, хлеб есть... Что я могу сделать? Думаю, господа, какая неприятность будет... А они кричат: «Ты чего не ешь хлеба? Пожалеют они тебя, думаешь? Нет, не пожалеют, ешь пока. Хлеб тёплый, хороший, мягкий, ешь». Вот так вот с ними жить.

— А что там, строили бараки какие-то для жилья?

— Мужики быстро настроили бараки.

— А куда же вас привезли? Просто в чистое поле?

— В чистое поле привезли. Там какой-то был барак. Один барак недостроенный. Ну, туда кое-как залезли и женщины, и мужчины. Каждый залез себе, где местечко нашёл, и приютился. Я сразу у стенки на доски легла, и всю ночь меня кто-то покрывал. Утром смотрю — мужик рядом лежал. Я думаю: «Это ты покрывал меня, чтобы тепло было?» Думаю, ну ладно, покрывал. А потом смотрю — его уж нету. Сколотили бригады — вглубь леса, валить лес. Ох, и валили лес. Костры, костры — чудо красивое. Вот когда веток много, целое дерево как зажгут — прямо до небес.

— А вы тоже работали на лесоповале? Прямо деревья валили?

— Вот они отрубят ветки — парни идут впереди, отрубят, — раньше же не было пилы, как сейчас пилят, тогда всё топором. А мы идём, собираем эти ветки в кучу, тащим их по снегу. Выше пояса снег. Тащим их туда, потому что будем сжигать. Костер будет. Знаменитый, красивый. Надо уметь сжечь, так хорошо горит... Все сгорит, ничего не останется.

— Завелись у вас там подружки, друзья? Чем-то еще занимались, кроме работы, какой у вас был быт? Может быть, книжки были, присылали что-то?

— Никаких книг не было, конечно. Даже газет не было, не то, что книг.

— А вас кто-нибудь охранял? Где-то отмечались?

— У нас был комендант, который за всё отвечал. И была, конечно, охрана, которую мы не видели, но она была, вокруг нас была охрана. Потому что при первом же конфликте она как из-под земли появилась. Но я ее не чувствовала и не видела. На моих глазах был только комендант. Но если какой-то конфликт — они все здесь...

— А были конфликты? Из-за чего?

— Были. Да, бандиты создавали конфликты. Все-таки этот вот народ, бандиты... Нехороший...

— А как же вы с ними ладили? Как находили общий язык?

— Ничего. Отлично! Я иду по лесу, уверенная, что никто меня не тронет. Никто не посмеет ко мне руку протянуть. Никто.

— А почему Вы были так уверены в этом?

— Потому что они хотят жить. Потому что они не хотят портить себе репутацию. Потому что они хотят, чтобы их полюбила женщина. Они многие хотели завести семьи, у них есть такое желание... Если какой конфликт, то это уже отъявленные бандиты. Везде, и среди обычных людей, есть такие же. А я хорошо их узнала только в ссылке...

— Долго вы были в ссылке?

— В ссылке... 1942, 1943, 1944.

— И когда же вас отпустили из ссылки?

— А вот в 44-м году я и уехала.

— И куда уехали? Прямо домой?

— В Барабинск уехала. И родила Наташу. Там, в Барабинске.

— Скажите, пожалуйста, ну вот вы приехали домой, как там вас встретили? Что вы нашли там?

— Я встретила там голод. Голод. Все лежат больные, и ни у кого нет крошки хлеба. И если бы я это знала, я бы не поехала. У меня были другие варианты, другие возможности, если бы я это только знала. А они все писали: «Приезжай, приезжай, мы тебе поможем». А я приехала — ни крошки хлеба, ни одной картошки. Семян у них нету. Ничего нету. Они до того уже замучены войной, что они лежат, они все лежат, на кроватях. Мама моя когда-то, когда жили хорошо, они мешками покупали кофе. Так она... это кофе в кухню, возле печки поставила. И она всё это кофе грызла, зёрна кофейные, целые. Когда-то, в хорошей жизни, они толкли, там хороший кофе готовили. А тут она просто его ела, ела и ела, пока у неё сердце не отказало. У неё сердце было плохое, она всё время кричала от боли. Стенокардия была...

Так что, как я приехала, я увидела, что мне надо опять бороться за жизнь. Теперь я с ребёнком. Мне снова надо немало усилий, надо что-то делать. Надо как-то хотя бы семена приобрести. Хотя бы... Они по случаю приезда сварили картошку в таком ящичке маленьком. И там вот такая вот картошка, проросшая, с такими вот стеблями проросшими. Это у них якобы семена. Так они её по случаю приезда сварили. А я смотрю, там сестрина дочка Света была, семилетняя девочка. Так она вот эту картошку торопится-торопится очистить... вот эту вот маленькую картошечку... её и есть-то нечего. Разве можно так? Она такая голодная была... Вот к чему я приехала. Война идёт, голод идёт. Я когда сидела на вокзале, сидел мужик, приходил, просил хлеба кусочек. Никто не дал. А он лёг между рельсами и помирает. А он помирает, а женщина подошла и положила ему кусок хлеба. А

он помер. Хлеб так и остался лежать. Потом люди смотрят, говорят: «Ты чего положила?» А она говорит: «От совести положила». Потому что раньше не могла положить, когда надо было, а тут помер, вроде, совесть заговорила... Вот к чему приехала.

— И как же вы выживали? Как вы боролись дальше?

— Как конь работала. Взяла лопату — пошла в поле. Взяла тряпки — пошла менять, поехала в деревню менять на картошку. Взяла лопату, где пойду, там и копаю. И на плечи возьму картошки два ведра. Вот так, тут ведро, тут ведро насыплю. Вот так перетяну мешок, повешу. Лопату на плечо — и пошла. Сколько вскопаю, столько и высажу. И я уже скоро сыта была. И всё равно я садила, и всё равно я их вытащила. Вот только потом у меня ослабленный ребёнок родился... Потому что я в голод приехала. А хлебные карточки были, но их не давали по неделе. То нет у них, то ещё чего. То украдут, наверное. Но было такое: если хлебные карточки потеряет человек — самоубийством кончает. Вот про одного все рассказывали, он даже сосед наш. У него семья, дети, а он потерял семейные, всю эту пачку хлебных карточек. Он пошёл и удавился. Потому что невозможно больше жить с упрёками. В Барабинске это было. Так вот жили эту войну. Ещё повестки приходят: убит там, убит...

— А ваши братья на войне оба были?

— Оба были на войне. Один убит, в 43-м, Сёма. Второй приехал. Старший, как писали, съездил со всякими благами и удобствами. А Сёма, младший, ездил прямо под огнём.

— Кто вам писал в лагерь письма?

— Старшая сестра, Анна. Она, как умер отец, была за старшую в семье.

— Расскажите, пожалуйста, про эту историю, как вы письма спрятали, где вы их зарыли?

— Не скажу. Не хочу. Никто не имеет права их брать.

— Да их, я думаю, что и нет. Никто их не найдёт.

— Ну, пусть не найдут, я не хочу, чтобы они кому-то достались. Может, они сгнили.

— Их нет, никто их не пойдёт откапывать. Просто интересен сам факт, что вот так они были спрятаны и укрыты. А почему вы их спрятали?

— Потому что я хотела, чтобы не все знали то, чего я не хочу, чтобы знали. Никогда человек не будет вам откровенным до дна. Никто. Я такого ещё не встречала. Так что у каждого на дне что-то есть недосказанное, невысказанное, запрытанное. И всему есть оправдание, и свой ум, и свой замысел.

— А вы приехали в Барабинск, там кто был? Мама ваша, сестра... Еще кто там жил, когда вы вернулись в 1944?

— Мама, сестра. И больная сестра на кровати лежала. Она не могла глядеть, что плачут от голода сестрины дети. Светлана эта, семилетняя, пошла, легла на грядке в огороде и плачет. Она как увидела, говорит: «Поеду, наберу тряпки и поеду менять на картошку. Не могу на это глядеть». Она набрала тряпок, поехала. Там специально ездила, так и называлась «вертушка». Кто хотел, мог ехать. Были вещи — иди, меняй в деревню. Давали такую возможность, не покупай билеты, только спасайся как можешь. И эта «вертушка» всё время ходила. И вот она взяла тряпок, набрала и поехала менять. Она наменяла картошки целую матрасовку. Это такая громадная наволочка. Она её заполнила. А поднять-то она не может ведь столько, помощников-то нету. И каким-то образом она всё-таки одна подняла. И что-то у неё порвалось в позвоночнике. А когда она доехала до Барабинска, её уже снимали оттуда люди. И она сидит там на вокзале одна... Идёт мимо женщина, а я в окошко гляжу. Она говорит: «Что сидишь-то? Твоя сестра там сидит посреди вокзала и не может встать». Я так испугалась, бегом туда. Не может встать — значит, я так и подумала, она искалечилась. Она искалечилась навсегда. А я только приехала. Я бы её не пустила. Я только ещё не успела осмыслить всё даже. Ну, тут я взяла лопату и пошла копать. Она искалечилась навсегда. Я её куда только не возила. И в Новосибирск, и в Омск, и в Томск. И в Москву дал мне направление Савиных здесь, в Томске. Он написал направление своему другу в Москве, невропатологу. Отвезите её туда. Говорит, это единственный врач в Москве, может, он возьмётся... Но я не доехала. Шибко все было трудно во время войны, и ездить было трудно, невозможно...

— А какие у вас были возможности, выезжая из ссылки, если не домой? Вы говорили, что были другие варианты.

— На север ехать.

— Зачем?

— Жить.

— А почему на север-то? Там вербовка была?

— Добровольно. Изъяви желание и всё. Я знаю, кто поехал, а я не поехала по одной причине. Там было безобразие. Там привязывали к столбам заключённых, раздевали догола. Это конвой, охрана. И оставляли на съедение насекомым. Издевались ужасно. Это над теми, кого сослали туда. Туда многих сослали, из Москвы, из Петрограда. Княжны там были, дворяне, вот такие люди... Почему я знаю: сколько там не скрывали этого безобразия, всё-таки до Москвы дошло. Кто-то сумел передать, что там творится. Тогда понаехало начальство туда все-таки — граница близко, пойдут слухи. Они больше всего боялись этих слухов. Тогда они весь состав, что там жил, разослали по лагерям. И к нам попало несколько человек оттуда. Вот они нам и рассказали, что было. Их разбросали тогда по всей Сибири и даже в европейские лагеря. В Мордовию тоже их послали. Везде. Ну, а конвой-то и охрана-то, я знаю, это что такое. Остался тот же состав. Думаешь, их вылечили, что ли, и что они теперь прямо святые? Они такие же и будут. Сколько я наблюдала, если он был гад плохой,

так он и гадом и остался. И я боялась в эту кашу лезть. Там оттуда не вылезти. Оттуда ты уж не выйдешь.

— Откуда?

— С Соловков, например...

— Ну, вы говорите, была возможность уехать по найму на север? Работать?

— Нет, я не говорю по найму. Никакого найма не было. Сам изъяви свое желание и иди ищи работу. Может найдешь. Никто тебя не нанимает. Иди сам ищи. Все бери на себя. Государство будет еще заботиться о сынах, гляди-ка, когда же она заботилась о нас. Да еще о ссыльных, да еще о заключенных. Чем меньше останется, тем богаче.

— То есть, когда закончился ваш срок ссылки, у вас выбора-то и не было? Только домой.

— Да, фактически, конечно, не было.

— Ну, скажите, вот война кончилась. Вы, наверное же, учительницей потом работали?

— Нет, я больше не работала. Больше я не работала учительницей, потому что там сложная идеология. И я не желаю говорить ученикам, что «да здравствует советская власть». Лучше я буду молчать.

— А вам разрешалось работать учительницей? Вы могли это сделать?

— Кто-то мог для меня это сделать, но я на это не пошла, потому что я знаю, что пока есть защита, она будет. Только эта защита отойдет, тебя заберут и снова осудят. Я просто эту систему боялась. Нет, я ждала своего часа. Когда вот пришёл Хрущёв, разоблачил Сталина и рассказал, что такое эти репрессии. Всё рассказал, и тогда пришло разрешение нас пускать на работу. А то ведь нельзя было, нас же не брали никуда. Пойдешь, вот такой лист дадут, вот такой громадный, заполняй. А там: есть ли за границей знакомые, есть ли переписка... Шибко заграницы боялись все. Зачем это? Заполняй этот весь лист, прежде чем... Было: «Если судимые» — хлоп, и сразу... Разве я могу скрывать, что я была? Меня ещё пришьют за обман. А как напишу, что была — меня никто не берёт. Вот когда приехала в Барабинск, я где только не была. У меня же ребёнок, и тут голод, и они голодают, и я. И я в совхоз пошла. Говорят, богатый совхоз. Дали мне лист с газетный лист. Как я написала, где была, — «Не надо». И потом, куда бы ни пошла, как напишу это, так «не надо».

Никуда меня не брали. Не только на работу. Меня в Барабинске не прописали, потому что на железной дороге. А Каинск, 12 километров от железной дороги, туда меня прописали. Волчий билет дали. Выпустили на свободу и дали волчий билет. Как хочешь, так и живи.

— А как же вы жили? На что вы жили?

— На сельское хозяйство. Завела две коровы, садила картошку, продавала молоко и всё. Ну, я пошла же работать, я реабилитировалась, наконец.

- А, ну, после реабилитации. Реабилитация была уже в каком году? В 56-м?
- Да. Началась она в 1955–1956.
- И, получается, с 1944 по 1956 год вы занимались своим хозяйством? Картошка, молоко, огород...
- Да. И всё. И все сыты были.
- А вы так же оставались жить с мамой там, в Барабинске?
- Ага.
- Так а как же вы сюда, в Томск, попали?
- Дочь уговорила и привезла.
- Хорошо. Теперь ещё два слова расскажите. Мы говорили с вами, когда вы занимались ликвидацией неграмотности... В тот момент произошла коллективизация. И вы, так сказать, ближайший свидетель.
- Ага, я свидетель. Потом были двадцатипятидесятники. Это в помощь организации колхозов посылали рабочих. Их 25 тысяч было. И рассылали их туда, где создают это коллективное хозяйство. Его убили в этом селе, где я была. Убили. Вот как ненавидели эту коллективизацию. И гонят корову, коровушку её со двора, а она идёт следом за коровой и голосит. А корову ведут на проволоке в загороженное стойло. И коровы все мычат, кричат недоенные. И бабы все вопят, и голосят по улице. Вот я видела коллективизацию. Недаром Черчилль спросил Сталина, сколько стоила тебе коллективизация. И он сказал: 10 миллионов. А я думаю, гораздо больше.
- А были какие-то сельские сходы, на которых решалось, что да, организуем колхоз?
- Никаких! Под бичом, под бичом. Никаких. Загоняли бичом и всё.
- А кто это организовал? Комбеды? Кто?
- Коммунисты. У них сила, они по всему Союзу, их в каждой деревне полно. Они все подладились. Они же угождают, они же только кричат: «Да здравствует Сталин!». И тут они обзавелись бичом, сели на коня и давай хлестать, кто не идёт. Гришка Федоренко, Сёмин друг, сел на коня, взял бич и загонял в колхоз. Потом он спился... Что, не знаете, тех времён? Там говорить нечего. Тьфу, нечего жалеть там.
- Хорошо, последний вопрос. А вот голод после коллективизации, помните, 1932–1933-го года? Как это было в Новосибирской области?
- Ну, голод, карточная система была... Ещё как! Голод, голод, голод. Вон, у кого есть картошка, тот живёт на картошке, и всё. Приспосабливается. А эти ленинградские

эвакуированные были в Барабинске, Каинске. Они всё где-то жмых добывали, к нам носили. Но это уже эвакуированные, во время войны.

— А вот именно 1930-е годы. Были какие-то беженцы? Приезжали с Украины? Что они рассказывали? Что это были за люди, что вы знали о них?

— А я, правда, тогда не интересовалась. Я только видела их, что они бедные и плохо живут...

— Ну вы ведь тогда тоже были, скажем так, идейный человек, с коммунистической идеей. Брат в Красной армии, вы неграмотность ликвидировали...

— Ликвидация неграмотности... Здесь коммунизм совершенно ни при чём.

— Я просто про то, что вы видели народный энтузиазм, что можно, так сказать, народ подвинуть и повернуть на какую-то...

— Ну, Ленин сразу сказал: на энтузиазме далеко не уедем. Давайте строить, создавать ценности. Не надо использовать энтузиазм до конца. Он видел, он многое видел.

— А ваш брат после Гражданской войны, он вернулся в Барабинск?

— Нет.

— Тот, который в Отечественную погиб?

— Да. В Отечественной погиб. Понятно.

— Всё, всё рассказала... Десятую часть рассказала?

— Я думаю, что не десятую, а двадцать пятую, конечно, только часть... Но мы закончили, закончили...

Географические места

- **Барабинск** — родной город рассказчицы в Новосибирской области. Место, где прошло её детство, куда она вернулась после ссылки и где родила дочь.
- **Саратов** — город, куда в юности уходил в монастырь её отец.
- **Новосибирск (ранее Ново-Николаевск)** — город, где рассказчицу арестовали. Упоминается внутренняя тюрьма НКВД и Заельцовский район.
- **Каинск (ныне Куйбышев)** — город в 12 км от Барабинска, куда она ездила учиться в старших классах.
- **Томск** — город, где её старший брат Павел учился в технологическом институте. Также упоминается в связи с врачом Савиных.
- **Барнаул** — город, где учился её старший брат Павел.
- **Тальменка, Горький** — сёла, где она учительствовала.
- **Иркутск** — город, где была практика и где она учительствовала.
- **Красноярский край** — место её лагерного заключения и последующей ссылки в тайге.
- **Мариинск** — город, где находилось главное управление лагерей и страшная пересыльная тюрьма, через которую она проходила.
- **Соловки** — упоминаются как одно из самых страшных мест ссылки, куда она боялась попасть.
- **Москва, Ленинград** — упоминаются в контексте медицинских консультаций и как места, откуда ссылали интеллигенцию.

Действующие лица

- **Волкова Анастасия Николаевна** — главная героиня, учительница, прошедшая через арест, лагеря ГУЛАГа и ссылку по ложному обвинению.
- **Николай Фёдорович Волков** — отец рассказчицы. Агент компании «Зингер», верующий и добрый человек, чья ранняя смерть стала поворотным моментом для семьи.
- **Мать рассказчицы** — после смерти мужа осталась с пятью детьми. Пекла хлеб на продажу во времена НЭПа. Тяжело переживала голод и войну.
- **Павел** — старший брат рассказчицы, инженер-строитель. Именно его ложно обвинили в создании террористической организации, а её – в пособничестве. Его самого не арестовали.
- **Сёма** — младший брат, который был её другом в детстве. Участник Великой Отечественной войны.
- **Анна** — старшая сестра, работала в детдоме. Поддерживала связь с рассказчицей, когда та была в лагере, передавала весточки в швах одежды.
- **Средняя сестра (имя не указано)** — помогала матери прятать еду от детей; позже получила травму позвоночника, пытаясь привезти мешок картошки для голодающей семьи.

- **Ольга Дворникова** — заключённая, спасшая рассказчицу от обморожения в вагоне для перевозки заключённых. Символ человечности в нечеловеческих условиях.
- **Тучин** — следователь НКВД, который вёл её первое дело, используя крики и психологическое давление.
- **Наташа** — дочь рассказчицы, родившаяся в Барабинске после её возвращения из ссылки.